

МАКСИМОВИЧ ЖЕЛЬКО



ТРИ УКАЗА,
КОТОРЫЕ ИЗМЕНИЛИ
ИСТОРИЮ

СЕПАРАТНЫЙ МИР

ОТВЕТСТВЕННОЕ
МИНИСТЕРСТВО

ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА

«Я СПАС ИМПЕРИЮ.
ИМПЕРИЯ МЕНЯ —
ПЕРЕЖИЛА»

НИКОЛАЙ II

АИ

НИКОЛАЙ 2

— ВЕРСИЯ 3 —



ВТОРОЙ ЭТАЖ
ЧИНОВНИЧЕСТВО



ТРЕТИЙ ЭТАЖ
КАПИТАЛ



ОСТАЛЬНЫЕ
ЭТАЖИ

СВОБОДА!
ЗЕМЛЯ!
ХЛЕБ!

Желько Максимович

АИ, Николай 2 версия 3

<https://litres.ru/74317412>

SelfPub; 2026

Аннотация

Ноябрь 1916 года. Российская империя на пороге коллапса: фронт трещит, казна пуста, Петроград на грани голодного бунта. Начальник Аналитического отдела Генерального штаба Пётр Аркадьевич Ланской входит в кабинет Государя с меморандумом, который изменит всё. Сепаратный мир с Германией. Ответственное министерство. Земельная реформа. Три указа — и реальность раздваивается.

В той истории, которую мы знаем, Империя рухнула через три месяца. В этой — выстояла. Но какой ценой?

«Пятый этаж» — роман о столетии, которого не было. Восемь тетрадей — восемь голосов из альтернативной реальности, где династия Романовых удержалась у власти, но самодержавие умерло, уступив место сложной конструкции из пяти «этажей»

Желько Максимович

АИ, Николай 2 версия 3

ПЯТЫЙ ЭТАЖ

Я спас Империю от немедленной гибели. Но та Империя, которую я спас, и та Империя, которую я хотел спасти, — оказались разными государствами. И эта разница называется моя жизнь.

— П. А. Ланской, из предисловия к мемуарам, 1946 г.

ТЕТРАДЬ ПЕРВАЯ: НОЯБРЬ

19 ноября 1916 г. — 1 января 1917 г.

Меня зовут Пётр Аркадьевич Ланской. Мне сорок восемь лет. Я начальник Аналитического отдела Генерального штаба Российской империи. Должность, которую я занимаю, не предусмотрена никаким штатным расписанием — она была создана под меня в марте 1915 года, когда Ставка осознала, что проигрывает не столько на полях сражений, сколько в области стратегического предвидения. Аналитический отдел — это пять комнат на втором этаже здания Генштаба на Дворцовой площади, двенадцать офицеров, трое вольнонаёмных статистиков и один картограф, глухой на левое ухо,

но рисующий такие карты, от которых у министров начинает дёргаться веко. Мы не командуем войсками. Мы не отдаём приказов. Мы считаем.

Суть моей работы проста: я смотрю на карту и вижу не настоящее, а будущее. Не trenches под Ковелем, не склады в Могилёве, не очереди за хлебом в Петрограде — а линии вероятностей, расходящиеся от каждой точки принятия решений. Я вижу Империю как организм, который можно спасти, если вовремя пережать нужную артерию — или, напротив, ослабить жгут. Геостратегия — это медицина государственного тела. И пациент, которого мне доверили, умирает.

Я решил вести эти записи не для истории. Историю пишут победители, и если я окажусь среди них — мои записи будут не нужны: официальная версия заменит правду. Если проиграю — их сожгут вместе с моим кабинетом. Нет, я пишу это для себя. Когда принимаешь решения, от которых зависят судьбы ста восьмидесяти миллионов человек, — а именно столько, по последней переписи, составляет население Империи без Финляндии и Царства Польского, — начинаешь путаться в собственных мотивах. Где заканчивается стратегический расчёт и начинается страх? Где кончается патриотизм и начинается тщеславие? Где проходит граница между человеком Петром Аркадьевичем Ланским, который любит гречневую кашу с маслом и скучает по покойной жене,

и функцией, которую он исполняет?

Запись помогает отделить стратегию от самообмана. Бумага не льстит. Бумага возвращает тебе твои же слова — и через неделю, через месяц, через год ты можешь перечитать их и спросить: это ты написал, Пётр Аркадьевич? Или это написал страх, принявший форму логики?

Стратегия — это искусство различать свои страхи и чужие. Я научился этому за двадцать лет службы. Но до сих пор не уверен, что умею отличать страх Империи от своего собственного.

19 ноября 1916 г.

Сегодня я был у Государя. Четвёртый раз за месяц. Каждый раз — тяжелее предыдущего. Он слушает, он задаёт вопросы, он смотрит в глаза — и с каждым разом я всё отчётливее чувствую, как между нами вырастает стена. Не стена непонимания — нет, Государь понимает. Он умнее, чем о нём говорят в петербургских салонах, где его называют «полковником» с той особой интонацией, которая превращает воинское звание в приговор. Он понимает всё, что я ему говорю. Более того — он понимает, что я прав. И именно это делает каждую встречу тяжелее предыдущей: человек, облечённый абсолютной властью, вынужден признать,

что эта власть больше не работает. Что механизм, созданный его предками, больше не способен управлять страной. Что самодержавие, бывшее основой русской государственности триста лет, превратилось в главную угрозу этой государственности.

— Вы предлагаете мне мир с Германией, — сказал он, произнося каждое слово так, словно пробует его на вкус и находит горьким.

Он стоял у окна. За окном был ноябрьский Петроград — мокрый снег, серое небо, чугунная Нева. В кабинете горел камин, но тепло не доходило до углов. Государь похудел за последний год — я заметил это ещё в первую встречу, в октябре. Мундир сидел на нём свободнее, чем раньше. Под глазами — тени, которые не скрывает даже мягкий свет кабинета. Он мало спит. Говорят, читает донесения до трёх часов ночи. Говорят, Императрица пишет ему из Царского по несколько раз в день — истерические, сбивчивые письма о том, что Распутин предсказывает катастрофу. Я не верю в Распутина. Но я верю в то, что человек, который верит в Распутина, обречён. Государь верит. Не столько в старца, сколько в жену. А жена верит в старца. Цепочка, которую невозможно разорвать.

— Сепаратный, — ответил я. — Немедленно. Через три

недели у нас не будет армии, чтобы торговаться. Сейчас она ещё стоит. Вчера из Ставки прислали сводку: в семнадцати дивизиях Юго-Западного фронта некомплект достигает сорока процентов. Снарядов — по полторы штуки на орудие в сутки. Это не война, Ваше Величество. Это агония, замаскированная под оборону.

Я говорил спокойно, но внутри всё сжималось. Я знал, что каждое моё слово — удар по тому, во что он верит. Он верит в союзников. Он верит в Антанту. Он верит, что честь офицера не позволяет выйти из войны, начатой вместе. И я должен был разбить эту веру — не потому, что хотел, а потому что альтернативой был коллапс.

— А союзники? — спросил он, и в этом вопросе было больше личного, чем государственного. Он говорил о чести. Он говорил о долге. Он говорил о том, что обещал дяде Берти — королю Эдуарду — ещё в 1908 году, когда они встретились в Ревеле. Я читал стенограмму той встречи. Мальчишеские клятвы, которым место в романе, а не в геополитике.

— Союзники ждут нашего коллапса. Лондон спит и видит русский труп, из которого можно будет извлечь проливы, концессии и долговые обязательства. — Я помедлил. — Простите за прямоту, Ваше Величество.

Он поморщился. Не от грубости — Ланского при дворе считают грубияном, и он к этому привык. Он поморщился от невозможности возразить. Государь знает о долгах. Восемь миллиардов рублей, взятых у Англии и Франции под проценты, которые мы никогда не сможем выплатить, — это не союзническая помощь, это удавка. Лондон не хочет нашего поражения. Лондон хочет нашей слабости. Слабая Россия — идеальный партнёр: достаточно сильная, чтобы держать германский фронт, но недостаточно сильная, чтобы претендовать на Константинополь.

Затем я перешёл ко второй части — и здесь воздух в кабинете сгустился. Ответственное министерство. Дума должна получить право формировать кабинет. Не совещательный орган, не говорильню, которую можно разогнать указом, — а реальный парламент, перед которым отвечают министры.

Он вздрогнул. Не от неожиданности — от подтверждения того, что он и сам уже знал. Я видел, как его пальцы, лежавшие на подлокотнике кресла, медленно сжались в кулак, а затем так же медленно разжались. Государь не позволяет себе эмоций на людях. Но я был не «люди». Я был человек, который произносил вслух то, что он боялся произнести сам.

— Вы понимаете, что это конец самодержавия в том виде, в каком его знал мой отец?

Он сказал «отец», а не «государь-император Александр III». Это была оговорка — редкая, почти интимная. На мгновение передо мной оказался не самодержец, а сын, вспоминающий отца. Александр III умер в сорок девять лет, и его сын всегда боялся не дожить до этого возраста. Сейчас ему сорок восемь — ровно столько же, сколько мне. Два ровесника в кабинете. Один — носитель короны. Другой — пророк её падения.

— Понимаю. — Я выдержал его взгляд. — Но самодержавие, которое рухнет через три месяца, — это конец династии. А самодержавие, ограниченное Думой, — это продолжение династии в новых условиях. Выбирайте, Ваше Величество.

Он выбрал.

Молчание длилось около минуты. Потом он кивнул — коротко, сухо, как кивают не соглашаясь, а сдаваясь. Я знал, что ночью он будет писать Императрице, что его вынудили, что он не мог иначе, что Ланской загнал его в угол. Но я также знал, что он не отменит решение. Государь держит слово — это, пожалуй, единственное, что у него осталось от отца. Всё остальное — власть, авторитет, страх подданных — утекало сквозь пальцы, как песок. Но слово ещё держалось.

Я вышел из кабинета в половине первого ночи. Гвардеец у двери вытянулся, провожая меня взглядом. В коридоре, у окна, выходящего на Неву, стоял человек. Вяземский. Я узнал его по тому, как он курил — не спеша, с ленцой, словно время не имело над ним власти. Сергей Илларионович Вяземский, товарищ министра внутренних дел. Третий этаж власти.

— Ну? — спросил он, не оборачиваясь.

— Подпишет.

Вяземский кивнул и затушил папиросу о подоконник. Пепел упал на мрамор. Он не заметил — или не счёл нужным заметить. Удовлетворение хищника, почуявшего добычу. Я знал это выражение. Я видел его два года, с тех пор как мы начали работать вместе. Сначала — осторожное, недоверчивое. Потом — оценивающее. Теперь — почти собственническое. Вяземский считал меня своим инструментом. Он ошибался. Но пока наши цели совпадали, эта ошибка была полезна.

— Значит, началось, — сказал он. — Вы понимаете, Пётр Аркадьевич, что обратного пути больше нет? Если мы не проведём это до конца — нас повесят. Всех. И вас, и меня,

и Шувалова.

— Меня повесят в любом случае, — ответил я. — Вопрос только — победителем или побеждённым.

Он рассмеялся. Смех у него был глуховатый, нутряной — смех человека, который не привык сдерживаться. Третий этаж власти радуется не спасению Империи, а расширению своего оперативного простора. Для него кризис — это возможность, катастрофа — ресурс, переворот — карьерный ход. Он искренне не понимал, почему я не радуюсь вместе с ним.

С этого момента, собственно, всё и началось.

Запись без даты. Отдельный лист, вложенный между страницами.

Я часто думаю о том, что такое государство. Это не границы, не армия, не золотой запас. Государство — это система предсказуемости. Ты идёшь по улице — тебя не грабят, потому что есть городской, а за городовым — участок, а за участком — министерство, а за министерством — Император. Ты сеешь хлеб — ты знаешь, что осенью продашь его на ярмарке, потому что есть законы о собственности, а за законами — суд, а за судом — та же вертикаль. Эта предсказуемость

держится на тысяче невидимых нитей, и когда нити рвутся — не все сразу, но одна за другой — государство исчезает. Сначала незаметно: ну, придержал хлеб, ну, дал взятку исправнику. Потом всё быстрее: хлеба нет совсем, исправник не берёт взятку, потому что боится толпы. А потом — толпа уже не боится ни исправника, ни министра, ни Императора.

В России этот процесс идёт с осени 1915 года. Великое отступление сломало не только фронт — оно сломало веру. Крестьянин, у которого реквизировали лошадь, не понимает, зачем он воюет в Галиции. Он понимает, что лошади нет и пахать не на чем. И если в следующем году он снимет урожай вдвое меньше — он будет винить не войну, а власть. Империя держится на хлебе, а не на манифестах. Хлеба нет. Значит, Империя падает.

Я пытался объяснить это Государю год назад. Он слушал, но не слышал — или слышал, но не мог поверить. Его мир — это мир, в котором крестьянин любит царя. Мой мир — это мир, в котором крестьянин хочет жрать. Это два разных мира, и они не пересекаются. Задача геостратега — построить мост между ними. Успеть, пока оба мира не рухнули в пропасть.

22 ноября 1916 г.

Сегодня получил сводку из Министерства путей сообщения. Это отдельная поэма, и поэма трагическая. За октябрь 1916 года железные дороги Империи недовезли четыреста тысяч тонн грузов — хлеба, угля, фуража. Паровозный парк изношен на семьдесят процентов. Вагоны стоят на запасных путях без ремонта — нет металла, нет рабочих рук. Система, построенная Витте в девяностых годах и казавшаяся чудом инженерной мысли, рассыпается на глазах.

Я вызвал Крутикова — он ведает у нас хозяйственной статистикой. Маленький, лысый, с вечно бегающими глазами — из тех людей, которых не замечаешь, пока не понадобится цифра. А цифры он знает все.

— Павел Семёнович, — спросил я, — если завтра мир. Если завтра демобилизация. Сколько паровозов нам нужно, чтобы вывезти армию с фронта и одновременно завезти хлеб в города?

Он помолчал, шевеля губами — считал в уме.

— Восемь тысяч. У нас есть три с половиной. Из них исправных — две тысячи восемьсот.

— А если поставить под ружьё железнодорожные батальоны?

— Тогда мы заберём людей с фронта. Фронт без людей — это не фронт. Немцы поймут.

— А если немцы тоже демобилизуются?

Крутиков пожал плечами. Его наука кончалась там, где начиналась политика. Он считал паровозы, а не вероятности. За это я его и ценил: в мире, полном иллюзий, человек, который просто считает паровозы, стоит десяти генералов.

Я отпустил его, а сам сел за карту железных дорог. Линии, расходящиеся от Москвы, как вены от сердца. Южное направление — хлеб. Восточное — уголь. Западное — армия. Если пережать западное — армия не вернётся с фронта. Если пережать южное — Петроград умрёт с голоду. Если пережать восточное — встанут заводы. Мы сидим на трёх стульях, и каждый из них подламывается. Мир с Германией освободит западное направление — но хватит ли этого?

Я просидел над картой до рассвета. Нашёл решение. Оно было плохим — все решения сейчас плохие — но оно было решением. Демобилизацию проводить поэтапно: сначала снимать части, стоящие в глубоком тылу, и бросать их на ремонт путей. Только когда пропускная способность дорог вырастет на двадцать процентов — начинать вывоз бое-

вых частей. Это займёт не два месяца, а шесть. Но иначе — коллапс транспортной системы, за которым последует продовольственный коллапс, за которым — коллапс политический.

Я записал расчёты на отдельном листе. Если кто-нибудь прочтёт этот лист через сто лет — он увидит сухую арифметику. Он не увидит того, что стояло за цифрами: лицо Крутикова, нервно шевелящиеся губы, карту, на которой линии дорог постепенно превращались в линии разломов. История — это всегда арифметика, из которой выкли страх.

23 ноября 1916 г.

Был у Шувалова. Новый военный министр — назначен три недели назад, после того как предыдущий, старик Поливанов, подал в отставку, не выдержав давления Думы и Ставки одновременно. Шувалов — другое дело. Ему сорок два года. Он из «молодых», то есть из тех, кто сделал карьеру не на паркетe, а в окопах. Два года командовал корпусом на Юго-Западном фронте — тем самым, который держал Луцк во время Брусиловского прорыва. Знает армию не по реляциям, а по запаху — запаху гниющих бинтов, прелой шинели, карболки. Я ценю его за это. Он единственный из высшего командования, кто не врёт себе.

— Как армия? — спросил я.

— Армия стоит, — сказал он. — Но не знаю, сколько ещё простоит. Солдаты не хотят воевать, Пётр Аркадьевич. Они не бунтуют, не митингуют — до этого пока не дошло. Но они не хотят. А армия, которая не хочет воевать, — это вооружённая толпа.

Он рассказал о случае в 113-м пехотном полку. Полк отказался идти в атаку. Не кричали «долой войну», не поднимали красных флагов — просто стояли в окопах и не двигались. Офицеры уговаривали, угрожали трибуналом — ничего. Потом выяснилось: солдаты получили письма из деревни. В тех деревнях бабы пахали сами — лошадей забрали по мобилизации. Дети пухли с голоду. И мужики в окопах решили: лучше трибунал здесь, чем смерть детей там. Полк расформировали, зачинщиков — под суд. Но это полк. А если так сделают десять полков? Двадцать? Что тогда — расстрелять армию?

— Мир нужен раньше, чем я думал, — сказал я.

— Насколько раньше?

— Месяц. Может быть, три недели. Каждая неделя промедления — это минус сто тысяч человек, которые уже не

будут воевать.

Шувалов помрачнел. Он знал, что это значит. Если мир будет подписан через три недели, мы не успеем подготовить армию к демобилизации. Солдаты, узнав о мире, бросят фронт и пойдут домой пешком — через всю Россию, грабя обозы, сжигая усадьбы, разнося по деревням тиф и революцию. Армия, которая перестаёт быть армией, превращается в стихию. Стихию нельзя контролировать. Ей можно только дать направление — и надеяться, что она не снесёт тебя вместе с Империей.

— Нужны заградотряды, — сказал Шувалов. — На узловых станциях. Перехватывать дезертиров, разоружать, возвращать.

— Это замедлит демобилизацию.

— Это спасёт тыл.

Мы спорили около часа. Спор был странный: мы оба понимали, что правы — но по-разному. Я видел проблему с точки зрения времени: чем быстрее демобилизация, тем быстрее заработает транспорт. Шувалов видел проблему с точки зрения порядка: чем медленнее демобилизация, тем меньше хаоса. Истина, как всегда, лежала в компромиссе,

которого не хотел никто.

В конце концов мы договорились: заградотряды на десяти главных узлах, но без права открывать огонь. Только задержание, фильтрация, отправка по этапу. Я сомневался, что это сработает. Шувалов тоже сомневался. Но альтернативой было бездействие, а бездействие сейчас — это смертный приговор.

25 ноября 1916 г.

Совещание у меня в Генштабе. Присутствовали: Вяземский, Шувалов, Штюмер, фон Мекк.

Пять человек в комнате. Пять этажей власти. Если бы кто-то посторонний увидел нас со стороны — он бы не понял, что перед ним за люди. Чиновники, офицеры, человек в штатском с лицом банкира (это фон Мекк). Обычное совещание военного времени. Но в этой комнате, за этим столом, в этот час решалась судьба Империи.

Я разложил карту — не военную, геостратегическую. Свою работу я сделал за ночь, перечертив обычную карту Европы так, чтобы на ней были видны не границы, а зоны влияния. Не армии, а ресурсные потоки. Не столицы, а транспортные узлы. Немцы, увидев такую карту, назвали бы её

«Grossraumplanung» — планированием большого пространства. Я называю это просто: картина болезни. Чтобы лечить пациента, нужно видеть не только перелом, но и кровеносную систему целиком.

— Господа, — начал я, — ситуация следующая. Мы выходим из войны с Германией в ближайшие три недели. Параметры мира: статус-кво на всех фронтах, взаимная демобилизация в течение шести месяцев, сохранение за нами Польши на условиях ограниченной автономии — это уступка Берлину, но уступка неизбежная. Германия получает право транзита через Балтику и признание своих экономических интересов в Османской империи — это уступка нам, потому что Османская империя всё равно разваливается, и к моменту развала мы хотим успеть перестроиться.

— А союзники? — спросил Штюмер. Он всегда спрашивает про союзников. Старая школа, Министерство иностранных дел, привычка думать не о реальности, а о том, как реальность будет выглядеть в дипломатической переписке.

— Антанта узнает постфактум. Реакция Лондона и Парижа будет жёсткой, но военных действий не последует — они истощены не меньше нас. Английская армия потеряла под Соммой шестьсот тысяч человек. Французская держится на колоссальном напряжении после Вердена. Воевать с на-

ми они не будут. Но дипломатическая изоляция и экономическое давление гарантированы. Мы превратимся в государство-изгоя на ближайшие пять-семь лет.

— Вывод? — Вяземский подался вперёд. Он всегда говорит «вывод» тоном человека, который уже знает ответ, но хочет услышать его от другого.

— Вывод: мы должны быть самодостаточны. Технологически, финансово, продовольственное. Никакой зависимости от морских коммуникаций. Проливы для нас закрыты — Босфор контролируют турки, за турками стоит Лондон, а Лондон нам больше не друг. Хартленд должен работать как замкнутая система. Уголь из Донбасса, хлеб из чернозёмной полосы, нефть из Баку, лес из Сибири — и всё это по внутренним коммуникациям, которые мы должны восстановить в ближайшие полгода.

— Это годы, — сказал Шувалов. — Вы говорите о перестройке всей экономики.

— У нас есть годы, — ответил я. — Мы покупаем их separatным миром. Каждый месяц мира — это месяц восстановления. Двенадцать месяцев мира — это новая транспортная система. Двадцать четыре месяца мира — это новая промышленность, независимая от импорта. Тридцать шесть ме-

сяцев — и мы снова можем разговаривать с Европой на равных.

Фон Мекк слушал молча. Я заметил его взгляд — цепкий, спокойный, оценивающий. Рудольф Густавович фон Мекк не был генералом, не был министром, не был сановником. Он был человеком четвёртого этажа — этажа, который не существует на бумаге, но от которого зависит, будет ли в столице тишина. Жандармский корпус, охранные отделения, агентурная сеть — всё это формально подчинялось Министерству внутренних дел, но реально замыкалось на него. Человек-невидимка, чьё имя никогда не появится в газетах, но чьи люди стоят за каждым углом.

Четвёртый этаж никогда не комментирует стратегию. Четвёртый этаж исполняет. И когда фон Мекк молча кивнул — я понял, что первая часть плана одобрена.

После совещания Вяземский задержался. Это его манера — всегда оставаться после, всегда иметь последнее слово, всегда создавать впечатление, что именно он контролирует ситуацию.

— Пётр Аркадьевич, — сказал он, закуривая (папироса в мундштуке, длинные пальцы, дым кольцами — он всегда курил красиво, потому что всё, что он делал, он делал для

зрителя, даже если зрителем был я один), — вы ведь понимаете, что произошло?

— Что именно?

— Мы только что совершили государственный переворот. Бескровный, бесшумный, законный — но переворот. Власть перешла от первого этажа к третьему и пятому. Государь остался символом. Реальная власть — здесь.

Он обвёл рукой мой кабинет. Стол с картами, книжные шкафы, портрет Государя на стене (повешенный не мной — казённый, оставшийся от предыдущего начальника), окно, за которым горел огнями Петроград, не знающий, что его судьба только что решилась в этой комнате.

— Здесь нет власти, Сергей Илларионович, — ответил я. — Здесь есть расчёт. Власть — это всегда компромисс между расчётом и интересом.

— Вот именно, — он улыбнулся. — Я представляю интерес. Вы — расчёт. Государь — легитимность. Шувалов — силу. Фон Мекк — тишину. Каждый на своём этаже. И все нужны друг другу.

Он ушёл. Я долго сидел над картой. За окном занимался

серый ноябрьский рассвет — такой же серый, как мундиры солдат, стоящих в окопах под Ковелем и не знающих, что через три недели им скажут: «Война кончилась. Идите домой».

Вяземский прав. Мы совершили переворот. Слово это пахнет кровью и порохом, но наш переворот не пахнет ничем — только табаком Вяземского, оставшимся в комнате после его ухода. Переворот — не всегда заговор. Иногда переворот — это единственный способ избежать катастрофы, которую не может предотвратить легитимная власть, потому что легитимная власть слишком долго была легитимной и перестала быть властью.

Государь говорит: «Я отвечаю перед Богом и историей». Но Богу не нужны оправдания, а история пишется победителями. Единственный отчёт, который имеет значение, — это отчёт перед ста восемьюдесятью миллионами, которые хотят есть, сеять хлеб и не бояться завтрашнего дня. Этого отчёта Государь дать не может. Может — я. Или думаю, что могу. Или заставляю себя думать, что могу, потому что иначе — бессмысленность всего.

Вопрос не в том, совершили ли мы переворот. Вопрос в другом: во что превратится эта конструкция через десять лет? Через двадцать? Когда Вяземский и его люди на третьем этаже поймут, что они сильнее всех остальных этажей вме-

сте взятых, — что их остановит?

Ответ: ничего. Ничего, кроме стратегии. Ничего, кроме меня. Ничего, кроме постоянного, изматывающего балансирования интересов — того самого, которое и есть настоящая работа геостратега.

И вот что я думаю сейчас, в три часа ночи, над остывшим чаем и недописанной докладной запиской: а что, если я не справлюсь? Что, если Вяземский окажется сильнее моего расчёта? Что, если фон Мекк решит, что тишина важнее законности? Что, если Шувалов увидит в армии не инструмент защиты Империи, а инструмент собственной власти?

Я построил машину, которая должна спасти Империю. Но любая машина может выйти из-под контроля. И тогда спаситель становится архитектором катастрофы.

3 декабря 1916 г.

Первая шифровка из Стокгольма. Наш человек — назовём его «С.» — сообщает: контакт установлен. Немцы согласны на предварительные условия. Циммерман, статс-секретарь иностранных дел, лично курирует переговоры. Это хороший знак. Циммерман — прагматик, не идеолог. Он понимает, что война на два фронта для Германии так же смер-

тельна, как для нас. И он понимает, что Россия, вышедшая из войны сейчас, — это Россия, которая через пять лет станет незаменимым партнёром против Англии. Немецкий ум устроен так: он всегда просчитывает на два хода вперёд. Англичане просчитывают на один — но зато с гарантией. Французы не просчитывают вообще — они реагируют. Мы, русские, просчитываем на десять ходов, но всегда ошибаемся в исходных данных.

В шифровке есть деталь, которая заставляет меня сжимать зубы. Немцы настаивают на включении в договор пункта о поставках продовольствия. Они хотят наш хлеб. Хлеб, которого у нас самих нет. Архангельский порт забит зерном, которое мы не можем вывезти, — и немцы знают это. Они предлагают использовать шведский тоннаж для транспортировки через Балтику. Технически — сотрудничество. Фактически — продовольственная дань.

Но альтернатива хуже. Если мы не продадим хлеб — немцы затянут переговоры, а затягивание переговоров сейчас равносильно поражению. Если продадим — мы ослабим свой внутренний рынок, но выиграем время. Опять этот проклятый выбор между плохим и катастрофичным. Я дал согласие. Поставил подпись под шифровкой и почувствовал, как внутри что-то оборвалось — тонкая нить, связывавшая меня с тем юношей, который двадцать пять лет назад окон-

чил Академию Генштаба и верил, что стратегия — это искусство побеждать. Теперь я знаю: стратегия — это искусство проигрывать меньше, чем противник.

8 декабря 1916 г.

Сегодня утром я увидел сон.

Мне снилось, что я стою на Дворцовой площади. Зима. Толпа — огромная, безликая, дышащая паром. Солдаты в серых шинелях, рабочие в картузах, женщины с детьми на руках. Они молчат. Никто не кричит «хлеба», никто не машет флагами — просто стоят и смотрят на Зимний дворец. И я понимаю, что они ждут. Чего — не знаю. Может быть, слова. Может быть, выстрела. Может быть, чуда.

Я пытаюсь пройти сквозь толпу, но люди расступаются не так, как должны — а так, словно они не люди, а вода. Я прохожу сквозь них, как сквозь туман, и выхожу к Иорданскому подъезду. Двери открыты. Внутри — темнота, густая, как сукно. Я иду по коридорам, и шаги мои не отдаются эхом — темнота съедает звук. Кабинет Государя. Я открываю дверь.

Государь сидит за столом. Перед ним — шахматная доска. Только фигуры не шахматные. Вместо короля — маленькая бронзовая пушка. Вместо ферзя — сноп пшеницы. Вместо

ладьи — паровоз. Вместо коня — фигурка солдата с винтовкой. А вместо пешек — просто камни, серые, неотличимые друг от друга.

— Ваш ход, Пётр Аркадьевич, — говорит Государь. Лицо его спокойно, почти безмятежно — такого лица я никогда не видел у него наяву. — Но помните: вы играете не с Германией. Вы играете с историей.

Я протягиваю руку к доске — и просыпаюсь.

Весь день этот сон стоит у меня перед глазами. Я не суеверен. Я не толкую сны. Но эта шахматная доска, эти фигуры, этот голос... Я знаю, что это значит. И я знаю, что это ничего не значит — просто усталость, просто нервы, просто слишком много кофе и слишком мало сна. Но где-то в глубине рассудка — там, куда геостратег старается не заглядывать, — я чувствую холод.

Что, если я действительно играю с историей? И что, если история никогда не проигрывает?

14 декабря 1916 г.

Получил аналитическую записку от моего помощника, капитана Реброва. Ребров — мой лучший аналитик, хотя сам

об этом не догадывается. Ему двадцать семь лет, он окончил математический факультет Московского университета, а потом пошёл на войну добровольцем. После контузии под Перемышлем его списали в тыл, и я подобрал его — не из жалости, а потому что увидел в его глазах то же, что вижу в зеркале: умение смотреть на мир как на уравнение. Ребров не верит в Бога, в царя и в отечество. Он верит в цифры. И цифры, которые он приносит, страшнее любой молитвы.

Записка озаглавлена: «О вероятности возникновения стихийных беспорядков в городских центрах после объявления мира».

Вывод: семьдесят четыре процента.

Семьдесят четыре процента на то, что в Петрограде начнутся погромы. Шестьдесят два — на то, что в Москве. Пятьдесят восемь — на то, что в Киеве. Ребров учёл всё: запасы муки, цены на хлеб, количество дезертиров, плотность полицейских нарядов, даже среднюю температуру воздуха (мороз снижает вероятность беспорядков, но голод повышает).

— И что вы предлагаете? — спросил я.

— Ничего, — сказал он. — Вероятность не отменяется приказом. Можно снизить на три-четыре процента, если вве-

сти комендантский час и раздать солдатские пайки рабочим. Но в целом — семьдесят четыре процента.

— А если не объявлять мир? Затянуть?

Он пожал плечами.

— Тогда через два месяца — девяносто.

Я отпустил его. Перечитал записку трижды. Ребров прав. Мир вызовет беспорядки. Отсутствие мира вызовет коллапс. Семьдесят четыре процента лучше, чем девяносто. Но это «лучше» — не утешение. Это просто арифметика смерти.

20 декабря 1916 г.

Встреча с Рузским. Северный фронт, штаб во Пскове. Я выехал туда лично — телеграф не годился для разговора, который предстояло провести.

Генерал-адъютант Николай Владимирович Рузский — старый лис, седой, сухой, с лицом, на котором давно не осталось ничего, кроме служебного долга. Он принял меня в штабном вагоне — не захотел идти в помещение, сказал: «Здесь стены слушают, а в поле — только снег». Мы пили чай из железнодорожных стаканов, и он слушал меня с тем осо-

бым вниманием, которое свойственно людям, привыкшим отдавать приказы, — не перебивая, не кивая, просто впитывая.

Когда я закончил, он долго молчал. Потом сказал:

— Вы понимаете, что мир с немцами — это удар по офицерам? Три года им говорили: «Воюем за веру, царя и отечество». Три года они вели людей в атаку. И теперь вы скажете им: «Война кончилась, мы договорились с врагом». Как они это примут?

— А как они примут, если фронт рухнет? — спросил я.
— Если солдаты перестанут подчиняться и пойдут по домам, разнося по России дезертирство, тиф и бунт? Что скажут офицеры тогда?

— Тогда они скажут: «Мы вас предупреждали».

— Вот именно. Поэтому мир. Сейчас.

Он снова замолчал. Затем — и этого я не ожидал — он сказал:

— Я поддержу. У меня три армии, пятьсот тысяч человек. Если нужно — я удержу фронт, пока идут переговоры. Если

понадобится — я удержу тыл, пока идёт демобилизация. Но вы должны понимать: это последняя карта. Если не сработает — второго шанса не будет.

Я понимал. И он понимал. Мы посидели ещё немного, глядя на снег за окном, — два человека, которые только что приняли на себя ответственность за судьбу полумиллиона солдат и не знали, простят ли они их.

На прощание Рузский сказал:

— Знаете, Ланской, я ведь помню вашего отца. Аркадий Петрович служил у меня в штабе в японскую кампанию. Хороший был офицер. Умный. Но слишком верил в расчёт.

— Это упрёк?

— Это предостережение.

Я ехал обратно в Петроград и думал об отце. Он умер в 1909-м, от сердца — сказала Маньчжурия, где он простудился и уже не оправился. Я почти не помню его — только запах табака и голос, читающий вслух «Войну и мир». И вот теперь его бывший начальник говорит мне: «Ваш отец слишком верил в расчёт». Что он имел в виду? Что расчёт подвёл? Или что-то другое — то, о чём Рузский не сказал, но

что повисло в воздухе штабного вагона, как пар от дыхания?

25 декабря 1916 г. Рождество.

Рождество я встретил в Генштабе. Не по обязанности — по необходимости. Из Стокгольма ждали подтверждения: немцы должны были дать окончательный ответ по польскому вопросу, и от этого ответа зависело всё. Если Берлин настаивает на полной независимости Польши — мы не можем подписать мир, потому что это будет означать потерю важнейшей буферной зоны. Если соглашается на нашу формулу (автономия с сохранением военного контроля, но без права самостоятельной внешней политики) — мир реален.

В десять вечера пришла шифровка. Дешифровальщик принёс её лично, белый как полотно — он понимал, что в этих строках история. Я прочитал. Перечитал. Отложил.

Немцы согласились.

Я вышел в коридор. Там никого не было. Тишина, как в храме. Я стоял у окна и смотрел на Неву — чёрную, замёрзшую, с цепочкой фонарей, уходящей в темноту. Где-то в городе звонили колокола — Рождество всё-таки дошло до Петрограда, несмотря на войну, несмотря на хлебные хвосты, несмотря на всё. Я достал портсигар — подарок жены, се-

ребряный, с гравировкой «П.А. от Е.С. 1903» — и закурил.

Жена моя, Екатерина Сергеевна, умерла два года назад. Сыпной тиф, которым она заразилась в лазарете, где работала сестрой милосердия. Я не был на её похоронах — был в Ставке, подписывал какие-то бумаги, которые теперь даже не помню. Мне кажется, я до сих пор не осознал её смерти. Не потому, что не любил — любил, ещё как любил. А потому что геостратег не имеет права на горе. Горе — это пауза в расчёте. А во время паузы Империя может рухнуть.

Но сейчас, в рождественскую ночь, под колокольный звон и снег, мне вдруг показалось, что она стоит рядом. Смотрит на меня своими серыми глазами. И говорит — беззвучно, одними губами: «Петя, ты справишься».

Господи, если Ты есть — помоги мне справиться.

31 декабря 1916 г.

Канун нового года. В моём кабинете тихо. За стеной — Петроград готовится к празднику, не зная, что мир с Германией уже практически подписан в Стокгольме. Последние детали урегулированы сегодня утром. Циммерман поставил подпись под протоколом о намерениях. Формальное подписание договора состоится 3 января, но по существу это уже

свершившийся факт.

Я перечитал написанное за этот месяц. Странное чувство. Я читаю свои собственные записи, как чужой дневник. Холодно. Слишком холодно. Я пишу о Государстве, об Империи, об этажах — и почти не пишу о себе. О жене упомянул раз, и то вскользь. Об отце — в связи с разговором с Рузским. О себе — несколько риторических вопросов. Может быть, это и есть профессиональная деформация: геостратег перестаёт быть человеком. Он становится функцией. Функция не имеет права на сомнения, на страхи, на горе. Функция считает и предсказывает.

Но сомнения есть. Они растут, как снежный ком.

Сегодня я получил последнюю сводку от Реброва. Он обновил расчёты с учётом рождественских настроений и недели относительной тишины в столице. Вероятность беспорядков после объявления мира не снизилась — наоборот, выросла до семидесяти восьми процентов. Главный фактор — дезертиры. По данным военной полиции, с октября по декабрь 1916 года из действующей армии дезертировало около ста двадцати тысяч человек. Они не ушли далеко — осели в прифронтной полосе, в сёлах и местечках, где нет ни полиции, ни военных комендатур. Когда объявят мир, эти сто двадцать тысяч снимутся с мест. Плюс те, кто сейчас

на фронте и не захочет ждать демобилизации. Итого — по оценке Реброва — около трёхсот тысяч вооружённых людей двинутся вглубь страны. Это не армия. Это лавина.

Фон Мекк уверяет, что жандармский корпус справится. Я не уверен. Жандармский корпус — это четырнадцать тысяч человек на всю Империю. Четырнадцать тысяч против трёхсот. Арифметика не в нашу пользу.

Всё идёт по плану.

Почему же мне страшно?

Потому что план — это не реальность. План — это модель реальности, построенная на допущениях. Я сижу над картами и вижу линии, стрелки, вероятности в процентах — но я не вижу лиц. Я не вижу мужика, который получит письмо о мире и скажет: «А за что ж мы три года мёрзли?» Я не вижу офицера, который потерял под Брусиловским прорывом роту и теперь должен будет объяснить себе, что эти смерти были не напрасны — хотя они были напрасны, и он это знает. Я не вижу петроградской кухарки, которая стояла три часа в очереди за хлебом и которой теперь скажут: «Мира достигли». Она спросит: «А хлеб-то где?»

Главное допущение, которое я заложил в расчёт: им-

перская бюрократия перестроится. Губернаторы перестанут воровать. Промышленники ограничат аппетиты. Дума не устроит охоту на ведьм — а ведь после объявления мира первое, что сделают кадеты, это потребуют расследования «преступлений режима», втянувшего страну в войну. Армия примет мир — не как поражение, а как передышку. Народ примет реформы — не как предательство, а как облегчение. Элиты примут ограничение своих привилегий.

Шесть допущений. Каждое — с вероятностью, которую я не могу посчитать точно. Будем честны: каждое — пятьдесят на пятьдесят. В лучшем случае. Перемножаем — получаем меньше двух процентов на то, что всё пойдёт гладко.

Но альтернатива — коллапс, гражданская война, распад Империи с вероятностью девяносто пять процентов. Я считал. Сто двадцать часов работы, восемнадцать аналитических записок, четыре сожжённых черновика — и в сухом остатке: катастрофа почти гарантирована, если ничего не делать. И почти гарантирована, если делать. Разница в процентах: два против пяти.

Так что два процента лучше, чем ноль.

Это и есть стратегия: не поиск идеального решения, а выбор наименее катастрофичного. Не победа, а отсрочка пора-

жения. Не свет в конце туннеля, а способ пройти по туннелю ещё немного — в надежде, что туннель всё-таки кончится, а не обрушится на голову.

Я закрываю эту тетрадь. Первая тетрадь. Ноябрь—декабрь. Два самых длинных месяца моей жизни. Завтра я начну вторую — и в ней будут уже не планы, а действия. Мир. Демобилизация. Реформы. Новый кабинет. Новая Дума. Новая Империя — или то, что от неё останется.

С новым годом, Пётр Аркадьевич. Ты только что переиграл историю. Посмотрим, что она скажет тебе через десять лет. Если ты доживёшь. Если Империя устоит. Если кто-нибудь вообще вспомнит, что в ночь на 1 января 1917 года в кабинете на Дворцовой площади сидел человек, который верил, что можно перехитрить катастрофу.

Стратегия — это всегда игра против времени. Время никогда не проигрывает.

Но иногда — очень редко — оно соглашается на ничью.

ТЕТРАДЬ ВТОРАЯ: ЭТАЖИ

1921–1925 гг.

12 марта 1921 г.

Пять лет. Пять лет прошло с того ноябрьского вечера, когда я вышел из кабинета Государя в половине первого ночи, чувствуя спиной холод дворцовых коридоров, а внутри — странную смесь триумфа и ужаса. Тогда мне казалось, что главное — выиграть первые часы. Потом первые дни. Потом первые недели, в течение которых подписанный в Стокгольме мир мог рассыпаться от одной телеграммы из Лондона, от одного демарша Думы, от одной истерики Императрицы. Но Стокгольмский договор устоял. Армия была демобилизована — не без эксцессов, местами кровавых (восстание в 17-м Сибирском корпусе под Псковом, подавленное частями Рузского, стоило жизни двумстам двадцати человекам), но в целом управляемо. Дума получила право формировать кабинет — точнее, рекомендовать кандидатуры, которые Государь утверждал без возражений. Формально самодержавие сохранилось. Фактически Россия стала дуалистической монархией по образцу германской до 1914 года, с той лишь разницей, что у нас не было Бисмарка, который сковал бы эту конструкцию железной волей. Был я — и моей воли хватало ровно на то, чтобы удерживать равновесие.

Я сижу в том же кабинете в здании Генерального штаба на Дворцовой площади. За окном — мартовский Петроград. Нет, уже не Петроград: в январе 1918 года Государь под-

писал указ о возвращении столице имени Санкт-Петербург. «Петроград» пахло войной, пахло поражением, пахло тем самым ноябрьским вечером, о котором никто не хотел вспоминать. Смена имени — это всегда попытка переименовать прошлое. Но прошлое не переименовывается. Оно остаётся, как старая фотография, спрятанная в ящик стола. Можно не смотреть. Можно забыть, что она там. Но она там.

Кабинет мой почти не изменился. Те же книжные шкафы красного дерева вдоль стен. Тот же портрет Государя — теперь уже не казённый, а мой собственный, заказанный у художника Серова за год до его смерти. Та же зелёная лампа на письменном столе. Та же карта Европы, только теперь на ней нет линии фронтов. Вместо них — пунктирные линии экономических зон: сфера германского влияния, сфера англо-французского влияния, сфера американского проникновения, сфера российской самодостаточности. Хартленд. Моя старая идея, наконец-то воплощённая в жизнь.

Империя выстояла. Это не фигура речи. Это констатация. В 1916 году я считал: вероятность коллапса — девяносто пять процентов. В 1917-м, когда Дума впервые собралась в новом качестве и первые три заседания закончились дракой между кадетами и октябристами, — я повысил оценку до девяноста семи. В 1918 году, когда дезертиры, не дождавшиеся организованной демобилизации, прошли через Тамбов-

скую и Воронежскую губернии, сжигая усадьбы и раздавая помещичью землю крестьянам, — до девяноста девяти. Но мы удержались. Чудом, на штыках оставшихся верными частей, на последних золотых запасах, на кредитах, выбитых Вяземским у германских банков под залог бакинской нефти, — но удержались.

Теперь, в 1921 году, статистика выглядит иначе. Земельная реформа Столыпина, возобновлённая осенью 1917 года — я настоял на этом перед Думой, пригрозив отставкой и публикацией меморандума о вероятных последствиях аграрного саботажа, — дала первые результаты. В 1913 году частных крестьянских хозяйств было около двух миллионов. К 1921 году — почти четыре с половиной. Крестьянин, получивший землю в собственность, перестаёт мечтать о «чёрном переделе». Он начинает мечтать о железной крыше, о породистой лошади, о том, чтобы выучить сына на агронома. Он становится консерватором — не по убеждению, а по интересу. В этом и был гений Столыпина: он понял, что лояльность покупается не манифестами, а десятинами.

Промышленность растёт. Медленно, с хрипом, с постоянными срывами — но растёт. Германские кредиты, полученные в обмен на обязательство не вступать в союзы, направленные против, Берлина, позволили переоснастить Путиловский завод и заложить три новых металлургических комби-

ната — в Донбассе, на Урале и под Нижним Новгородом. Электрификация — модное слово, которое так любит молодой инженер Кржижановский, назначенный мною главой Имперской электротехнической комиссии, — медленно, но верно превращается из риторики в реальность. В Петербурге, Москве и Киеве уже не редкость электрическое освещение в домах. Телефонная сеть расширяется. Радиостанции — три штуки, в Петербурге, Москве и Севастополе — ведут пробное вещание.

Армия сокращена с восьми миллионов до полутора, но перевооружена. Германские инженеры — тайно, в обход версальских ограничений — помогли наладить производство новых полевых орудий и пулемётов. Русский Генштаб, усилиями Шувалова и его преемника генерала Миллера, превратился в настоящий интеллектуальный центр — не чета тому, что было до войны. Мы больше не воюем числом. Мы учимся воевать умом.

Казалось бы — успех.

Вот слово, которое я научился ненавидеть. «Успех» звучит как приговор. Тот, кто объявляет об успехе, — перестаёт видеть угрозы. А угрозы есть всегда. Они просто меняют природу.

Смотрю на то, как устроена власть сейчас, в двадцать первом, — и вижу совсем не то, что планировал. Я создавал систему равновесия. Получилась система скрытого противоборства.

Запись без даты. Между страницами, на листе гербовой бумаги — но исписанном с обеих сторон, словно Ланской экономил место.

Я часто спрашиваю себя: а если бы тогда, в ноябре, я не пошёл к Государю? Если бы не выложил перед ним карту — не военную, мою, ту самую, с зонами вероятностей и линиями разломов, — что было бы?

Девяносто пять процентов на то, что к марту 1917 года в Петрограде начались бы стихийные беспорядки. Восемьдесят — на то, что армия отказалась бы их подавлять. Семьдесят — на то, что Государь подписал бы отречение. Шестьдесят — на то, что Временное правительство не удержало бы власть. Пятьдесят — на то, что к концу года к власти пришли бы крайние левые. Сорок — на то, что страна скатилась бы в гражданскую войну. Тридцать — на то, что война эта закончилась бы победой радикалов и установлением диктатуры, рядом с которой самодержавие показалось бы либеральной идиллией.

Я перемножал эти вероятности тысячу раз. Я просыпался в четыре утра и снова перемножал. Я проверял каждую цифру у Реброва. Я требовал от него альтернативных моделей. И каждый раз итоговая цифра оказывалась одинаковой: бездействие — это гарантированная катастрофа. Моё действие — это отсрочка. Может быть, на десять лет. Может быть, на двадцать. Может быть, на одно поколение. Но не навсегда.

И вот теперь, пять лет спустя, я смотрю на то, что построил, — и спрашиваю себя: а не обменял ли я одну катастрофу на другую? Не отсрочил ли коллапс ценой его углубления?

Потому что система, которую я создал, работает — но работает она не так, как я планировал.

14 апреля 1921 г. Составлено описание «этажей» власти — впервые в систематическом виде.

Первый этаж: Государь.

Николай Александрович Романов. Ему пятьдесят три года — на пять лет больше, чем мне. У него седая борода, усталые глаза и походка человека, который несёт на плечах невидимый груз. Он по-прежнему Император и Самодержец Всероссийский. Он по-прежнему открывает заседания Думы тронной речью. Он по-прежнему подписывает законы и при-

нимает верительные грамоты послов.

Но он больше не управляет.

Это не было прописано ни в одном законе. Ни в одном указе. Ни в одной инструкции. Просто однажды — кажется, весной 1918 года, когда Дума в третий раз отклонила предложенный им проект бюджета, — Государь перестал спорить. Не потому, что согласился. Потому что понял: спор с Думой — это спор с реальностью, а реальность больше не на его стороне. Он остался символом. Символом единства Империи, символом исторической преемственности, символом того, что новая Россия — это продолжение старой, а не её отрицание. И в этом качестве он по-прежнему незаменим.

Но я помню его взгляд там, в ноябре 1916-го. Взгляд человека, который понимает, что подписывает не мирный договор, а приговор — не Империи, нет; приговор себе. Приговор своей роли в истории. Он получил то, что хотел: династия продолжается. Но какой ценой? Ценой превращения самодержца в конституционного монарха — а это для Романова, воспитанного Победоносцевым, страшнее смерти.

Я вижу его на официальных приёмах — прямой стан, приветливая улыбка, безупречный мундир. И я знаю: он страдает. Страдает молча, не жалуясь, не упрекая — он вообще

не умеет жаловаться. Но где-то глубоко в этих светлых, чуть водянистых глазах прячется вопрос, который он никогда не задаст вслух: «Ланской, зачем ты спас мою корону, если ты отнял у неё смысл?»

Я не знаю ответа. Я стратег, а не духовник.

Второй этаж: чиновничество.

О, это особая песнь. Песнь, которую я слушаю пятый год и от которой у меня начинает дёргаться веко.

Дореволюционное — да, я ловлю себя на слове «дореволюционное», хотя революции не случилось, но что-то внутри меня знает: она могла случиться, она почти случилась, она просто была отсрочена, — так вот, довоенное чиновничество было вороватым, неповоротливым, кастовым. Но оно хотя бы понимало свои границы. Да, губернатор воровал — но в пределах разумного. Да, министерский департамент тянул с решением — но на три недели, не на три года. Да, бюрократическая машина скрипела — но она двигалась.

Теперь всё иначе. Реформы потребовали администраторов. Администраторы потребовали жалованья. Жалованье потребовало новых налогов. Налоги потребовали нового учёта. Учёт потребовал новых администраторов. Круг за-

мкнулся, и с каждым оборотом машина управления становилась сложнее, дороже — и бесполезнее.

У меня есть младший статистик, некто Замятин — не писатель, однофамилец, хотя, говорят, тот Замятин действительно что-то пишет. Так вот, мой Замятин подсчитал: в 1913 году на одного жителя Империи приходилось 0,17 чиновника. В 1921-м — 0,31. Рост почти вдвое. При этом скорость прохождения бумаг по министерским коридорам выросла — не упала, нет, это было бы слишком просто — выросла втрое. Бумага движется быстрее. Но решения не принимаются быстрее. Они просто откладываются с более высокой скоростью.

Второй этаж — это мир, где циркуляр заменяет закон, а резолюция «принять к сведению» заменяет действие. Это мир, в котором я провожу треть своего времени — и каждая минута там приближает меня к бешенству.

Третий этаж: промышленники.

Вот где настоящая власть.

Сергей Илларионович Вяземский теперь не просто заводчик, не просто товарищ министра. Он — председатель Имперского промышленного совета, организации, созданной в

1919 году как консультативный орган при Совете министров, а на деле превратившейся в неформальное правительство экономики. У него тридцать семь заводов. У него контрольный пакет акций «Волжско-Камского нефтяного товарищества». У него доля в германском консорциуме «Ост-Индустрии», который кредитует русскую промышленность. У него свои люди в Думе (фракция октябристов почти целиком состоит из его выдвиженцев), в Государственном совете и — я подозреваю — среди моих собственных аналитиков.

Вяземский вежлив. Вяземский патриотичен. Вяземский всегда подчёркивает лояльность престолу и лично мне. На каждом заседании он говорит: «Мы, промышленники, — солдаты экономического фронта». Красивая фраза. Опасная фраза. Потому что солдат на фронте рано или поздно задаёт вопрос: а зачем нам генералы?

И его интересы всё чаще расходятся с интересами Империи.

Империи нужна конкуренция — Вяземскому нужна монополия. В 1920 году его люди пролоббировали через Думу «Закон о стратегических отраслях», который фактически закрыл доступ иностранному капиталу в нефтяной и металлургический сектора. Я пытался возражать. Я подготовил меморандум на имя Государя с анализом долгосрочных по-

следствий: монополизация приведёт к росту цен, рост цен — к снижению потребления, снижение потребления — к замедлению модернизации. Меморандум был зачитан на заседании Совета министров. Вяземский выслушал, поблагодарил за «глубокий анализ» и предложил создать комиссию для дополнительного изучения вопроса. Комиссия заседает до сих пор. Закон принят.

Империи нужна дешёвая нефть — ему нужна дорогая. Империи нужны технологии — ему нужна закрытость рынков, чтобы не делиться прибылью с иностранными конкурентами. Империи нужна открытая торговля с Германией — ему нужны эксклюзивные контракты, которые приносят ему лично двадцать процентов годовых.

Пока наши интересы совпадают, Вяземский — мой союзник. Но я уже вижу развилку впереди. И я не знаю, в какой момент он решит, что я больше не полезен.

Четвёртый этаж: силовики.

Полковник Рудольф Густавович фон Мекк. Сын знаменитого железнодорожного магната — но, в отличие от отца, выбрал не рельсы, а невидимые пути, по которым движется информация.

Фон Мекк по-прежнему молчалив. По-прежнему эффективен. По-прежнему появляется в моём кабинете не реже раза в неделю — всегда без предупреждения, всегда с тонкой папкой, в которой на двух-трёх страницах уместается больше информации, чем во всех сводках Министерства внутренних дел.

Его люди контролируют столицу — это я знаю точно. Контролируют границу — об этом можно догадаться по тому, что ни один мало-мальски опасный эмиссар не пересекает её без его ведома. Контролируют почту, телеграф и — я почти уверен — телефонные линии. Четвёртый этаж — это нервная система Империи. Без неё государство слепнет, глохнет и впадает в паралич.

Фон Мекк верен лично мне. Это не моя иллюзия — это его собственные слова, сказанные однажды без свидетелей:

— Пётр Аркадьевич, я служу не трону и не Думе. Я служу тому, кто понимает, что тишина — это условие существования Империи. Пока этот человек — вы, вы можете на меня рассчитывать.

Я ценю эту верность. Но я знаю цену любой верности — особенно верности четвёртого этажа. Четвёртый этаж подчиняется силе. А сила всё больше концентрируется на третьем.

Если когда-нибудь фон Мекк решит, что Вяземский сильнее меня, — он переменит сторону без колебаний. Не потому, что предатель. Потому что профессионал.

Пятый этаж: я.

Пётр Аркадьевич Ланской. Начальник Аналитического отдела Генерального штаба, тайный советник — чин, присвоенный мне в 1919 году, в один день с пятой годовщиной смерти жены; я помню, как стоял в Зимнем, слушал указ и думал о том, что Екатерина Сергеевна не дожила. Стратег. Аналитик. Архитектор.

И — самый слабый из пяти.

Это понимание пришло не сразу. В первые два года после Стокгольма я был пьян властью — не той, что даёт титулы и ордена, а той, что даёт возможность перекраивать реальность по собственной модели. Мои меморандумы становились законами. Мои прогнозы определяли бюджет. Мои рекомендации назначали министров и снимали губернаторов. Я был серым кардиналом — и наслаждался этим, хотя никогда не признался бы вслух.

А потом, где-то в 1919 году, я начал замечать: не все мои меморандумы становятся законами. Не все прогнозы опре-

деляют бюджет. Не все рекомендации исполняются.

Нет, никто не спорил со мной открыто. Никто не хлопал дверью и не кричал: «Ланской, вы зарвались!» Просто мои записки начали встречать сопротивление — тихое, обволакивающее, почти ласковое. «Глубокий анализ, Пётр Аркадьевич, глубочайший. Позвольте создать комиссию». «Блистательно, просто блистательно. Но бюджет уже свёрстан, давайте вернёмся к этому в следующем году». «Вы, как всегда, правы. Но политически это несвоевременно».

Вот слово, которое меня убьёт: «несвоевременно». Своевременность — это категория власти, а не стратегии. Стратегия говорит: «Правильно». Власть говорит: «Подожди». И в промежутке между ними умирают империи.

И вот что я понял за эти пять лет: у пятого этажа нет ничего, кроме расчёта. Нет денег третьего. Нет силы четвёртого. Нет легитимности первого. Нет аппарата второго. Расчёт — это оружие, которое работает, только пока остальные согласны играть по правилам. Но когда третий этаж решит, что правила ему больше не нужны, — что я смогу сделать? Подать докладную записку?

7 июля 1921 г. Сон.

Мне снова снилась шахматная доска.

На этот раз я сидел за ней не против Государя, а против Вяземского. Он улыбался своей вежливой, чуть снисходительной улыбкой — улыбкой человека, который знает то, чего не знаешь ты, и ждёт, когда ты это поймёшь.

На доске были не фигуры — символы. Маленькая корона (Государь). Бронзовый бюст чиновника с портфелем (второй этаж). Заводская труба (Вяземский). Жандармский жезл (фон Мекк). И моя фигура — циркуль. Простой чертёжный циркуль, которым я всегда расчерчивал свои карты.

Вяземский двигал заводскую трубу — и она сметала с доски моих пешек. Пешки были не серые, как в прошлый раз, а прозрачные, стеклянные. Разбиваясь, они звенели — тонко, жалобно, как разбивается ёлочная игрушка.

— Ваш ход, Пётр Аркадьевич, — говорил Вяземский. — Но имейте в виду: я знаю ваш расчёт на десять ходов вперёд. А расчёт, который знает противник, — это не расчёт. Это приглашение к проигрышу.

Я протягивал руку к циркулю — и просыпался.

Третий раз за месяц вижу этот сон. Надо бы показаться

врачу. Но врачи лечат тело, а у меня болит не тело. У меня болит конструкция, которую я создал. И которую я, кажется, больше не контролирую.

2 ноября 1921 г. Разговор с Ребровым.

Капитан Ребров — теперь уже майор, я выбил ему внеочередное звание в 1919-м — пришёл с очередной аналитической запиской. Название сухое, как всегда: «О динамике влияния негосударственных субъектов на законотворческий процесс за период 1919–1921 гг.». Я прочитал название, и у меня похолодело в груди. Ребров никогда не даёт запискам названий. Он приносит листки с цифрами и кладёт мне на стол. Если он оформил записку по всем правилам, с титульным листом, с колонтитулами, — значит, он хочет, чтобы я обратил на неё особое внимание. Чтобы я не просто прочитал, а понял.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.